



Константин Симонов

Товарищи по оружию

ФТМ



Константин Симонов
Товарищи по оружию

«ФТМ»
1950-1965

Симонов К. М.

Товарищи по оружию / К. М. Симонов — «ФТМ», 1950-1965

ISBN 978-5-4467-0459-0

Роман Константина Симонова «Товарищи по оружию» посвящен драматическим событиям, связанным с Халхин-Гольским конфликтом. Развязанная японскими милитаристами, эта «малая» война 1939 года отличалась крайним напряжением, была жестокой пробой сил, имевшей далеко идущие политические последствия. Здесь возшла полководческая звезда Г. К. Жукова, некоторые черты которого воплощены писателем в образе Командующего. «Товарищи по оружию» внутренне связаны с написанными затем Симоновым произведениями о Великой Отечественной войне. С некоторыми персонажами из трилогии «Живые и мертвые» и романа «Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)» читатель впервые знакомится в романе «Товарищи по оружию».

ISBN 978-5-4467-0459-0

© Симонов К. М., 1950-1965

© ФТМ, 1950-1965

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	13
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Константин Симонов

Товарищи по оружию

Глава первая

Над монгольской степью пылал беспокойный и яркий, полосатый апрельский закат. Верхняя полоса была черно-фиолетовая, под ней синяя, под ней зеленая, еще ниже желтая, переходившая в нижнюю, ярко-багровую полосу, которая лежала на самой земле. Закат обещал ветер, но сейчас было так тихо, что каждая травинка в степи стояла отдельно и неподвижно.

За последним домом городка сразу начиналась степь, она тянулась до горизонта, скрывалась за ним, и, глядя на нее, трудно было представить себе, как далеко она шла и где кончалась.

Последний дом городка был почтой. Капитан Климович зашел туда, как всегда, пятнадцатого числа, чтобы отправить теще в Бобруйск заказное письмо, подтверждавшее перевод денег по аттестату. Он сдал заказное, получил два письма, пришедших на его имя, – одно от тещи и второе из Москвы, тут же, на почте, проглядел их, послал в Москву ответную открытку с поздравлением к Первому мая и, выйдя на воздух из маленького, душного домика почты, несколько минут постоял, глядя в степь, на багровый закат.

Он смотрел на закат и, к собственному удивлению, все никак не мог оторваться от этого зрелища, достаточно обыденного для человека, второй год живущего в Монголии.

– Вот так и начнется, – проговорил Климович.

Слово «начнется» относилось к войне, хотя если бы он спросил себя, почему он подумал так именно сегодня, глядя на этот закат, то едва ли сумел бы дать связный ответ на собственный вопрос.

Монгольский городок, где танковая бригада стояла уже второй год, в одном гарнизоне с бронедивизионом монгольской кавалерийской дивизии, был совсем не похож на город в том понимании, в каком для Климовича были городами Чита, где они стояла до этого, или Бобруйск и Термез, где он служил еще раньше. Городок стоял среди необозримой травянистой пустыни Восточной Монголии. От него уходили три дороги: хорошо накатанный западный тракт на Улан-Батор, тракт на северо-восток, в пятистах километрах отсюда пересекавший, близ станции Борзя, советскую границу, и слабо наезженная дорога на восток, в сторону Маньчжурии.

Городок так мало возвышался над степью, что за пять километров были видны лишь мачты радиостанции. Кроме казарм, в городке было два десятка одноэтажных домиков, где жили командиры с семьями, несколько домов, принадлежавших монгольским гражданским учреждениям, две лавки монгольской кооперации и длинный глинобитный барак – кино.

Вокруг домов по степи были разбросаны большие, круглые, теплые, с железными печками внутри, монгольские юрты. Они-то и составляли город.

Бригаду перебросили сюда из-под Читы в начале сентября 1937 года, за неделю до срока, который японцы наметили для внезапного вторжения в Монголию.

Одной из частей, вступивших тогда в Монголию в соответствии с протоколом о взаимной помощи, была бригада, где служит Климович. Вторжение не состоялось потому, что японцы в тот год планировали операцию против одной монгольской армии, без расчета на столкновение с советскими войсками. В следующем году произошли события у озера Хасан, а что могло принести это третье лето – лето 1939 года, – трудно было заранее сказать. Во всяком случае, бригада уже полтора года стояла здесь в полной боевой готовности.

В прошлом году отпуска командному составу отменили; имелись основания предполагать, что их отменят и в этом. Правда, последние месяцы на границе было сравнительно тихо,

если не считать угонов скота и перестрелок кавалерийских разъездов. Но эта тишина ровно ничего не значила.

Стремясь отделаться от мысли, с которой он только что смотрел в степь, на закат, Климович шел по улице и гадал – есть ли шансы на тихое лето и, следовательно, на отпуск осенью?

До квартиры, где стоял Климович, предстояло пройти больше двух километров, и он торопился скорей отшагать их. Начинало стремительно темнеть, батарейка в фонарике была, по его расчетам (а расчеты у него всегда были точные), на исходе, и, пройдя два квартала, он упрекнул себя за потерю времени, ушедшего на бесцельное созерцание заката, что не входило в его привычки.

Стало совсем темно. Юрты слились с темнотой; лишь кое-где смутно белели оштукатуренные дома. Климович зажег фонарь, и слабое белое пятнышко побежало впереди него, как собака на коротком, туго натянутом поводке.

Батарейка, как и предполагал Климович, кончилась раньше, чем он дошел до дома. Было уже восемь вечера. Он поморщился, подумав, что жена теперь непременно упрекнет его за то, что он пошел прямо на почту, не заходя домой, и скажет, что письмо ее матери насчет денег можно было послать и завтра. А ему не захочется объяснять, что он предпочитает делать эти вещи так же аккуратно, как аккуратно платят жалованье ему самому.

– Здравствуйте, товарищ капитан! – раздался голос за спиной Климовича, и свет чужого фонаря лег ему под ноги.

Климович обернулся. Догнавший его человек был Даваджаб – командир монгольского бронедивизиона.

– Что так поздно? – спросил Климович.

– Не знаю. – Даваджаб пожал плечами. – Только что пришел из штаба к себе в юрту – и опять вызвали в штаб. А вы откуда и куда?

– Домой, с почты.

– Ну как, получили письма или еще пишут? – спросил Даваджаб, как всегда чуть-чуть щеголяя превосходным знанием русского языка и светя под ноги Климовичу своим фонариком.

– Долго письма идут, – вместо ответа сказал Климович. – Из Москвы – на двенадцатый, а из Бобруйска – на двадцать второй.

– Далеко. Скучаете немножко, да?

– Некогда. Сарычев скучать не дает. Сами видели! – Климович имел в виду трехдневные совместные с монголами учения, которые проводил командир бригады Сарычев.

– Товарищ Сарычев очень тяжелый человек, – с восхищением, не соответствовавшим его словам, сказал Даваджаб. – Очень тяжелый человек.

– Вот именно. – Климович вздохнул и вспомнил, как Сарычев вывел сегодня на стрельбах «удовлетворительно» всей отлично стрелявшей роте Климовича за персонально плохую стрельбу командира третьего взвода лейтенанта Овчинникова.

– Значит, не скучаете? – вернулся Даваджаб к тому, с чего начал разговор.

Они уже подошли к домику, где жил Климович.

– Деревьев мало у вас, – неожиданно сказал Климович. – Хоть бы вы их сажать начали, что ли. Ни тебе леса, ни тебе сада, просто тоска берет! – И, спохватись, что, кажется, сказал грубовато, добавил: – Я белорус, лесной человек, поэтому и тоскую. А вообще-то, конечно, природа у каждого своя, какая кому нравится.

Даваджаб рассмеялся. Его насмешило непривычное сочетание слов: «лесной человек».

– А я степной человек, – сказал он, – люблю, чтобы всегда было небо над головой.

– То-то я заметил, вы верхние люки в бронемашинах закрывать не любите.

– В бою закроем, а пока, на учениях, можно воздухом дышать.

– Между прочим, напрасно, – сказал Климович. – Я, например, почти не хожу с открытым люком – тренирую себя с закрытым, и на плохую видимость, и на духоту – на пары бензина, на пороховые газы. Бой – не стрельбы, весь боекомплект придется расходовать! Ну что ж, до завтра!

Сидя на высоком детском стульчике у накрытого клеенкой обеденного стола, дочь Климовича Мая (ее называли так по настоянию отца, и потому, что она родилась в мае прошлого года, и потому, что он еще с детского дома любил это родившееся после революции имя) с помощью матери ела жидкую молочную кашку, время от времени выдувая ее обратно большими белыми пузырями.

Климович снял фуражку с наголо бритой головы и улыбнулся. У него была неожиданная для тех, кто его не знал, добрая, широкая улыбка, для которой, казалось, физически нет места на его загорелом, жестком, будто кованном из красной меди лице.

Он расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки, опустился на стул, и его жена Люба сразу поняла по выражению лица, что он сегодня устал, чем-то расстроен, чем-то взволнован и хочет поговорить с ней.

Когда уже не первый год живешь с таким неговорливым человеком, то невольно так хорошо изучишь его молчаливое лицо, что читаешь на нем гораздо больше, чем все остальные люди.

Приподняв дочь под мышки, Люба вытерла с ее губ остатки каши и сказала:

– Ну, пойдем спать. Спокойной ночи, папа!

Держа дочь на руках, она на минуту присела рядом с мужем, и Мая неуклюже ткнулась горячими губами в холодную, твердую, дышавшую степной прохладой щеку отца.

Оставшись один, Климович расстегнул еще пуговицу, искоса, недовольно посмотрел на почерневший за день уголок подворотничка и, пока жена укладывала дочь, взялся за лежавшие на столе газеты.

Центральные газеты шли сюда почти месяц. Последние номера были за конец марта. Гитлер захватил Чехословакию, и страницы газет пестрели тревожными заголовками. Отшвыривая листки календаря, война там, на западе, приближалась, кажется, еще быстрее, чем здесь, на востоке.

Подумав об этом, Климович невольно вспомнил тамошние приграничные гарнизонные городки: Каменец-Подольск, Волочиск, Проскуров, где он проходил службу до переброски сюда, на Дальний Восток. Для него, военного человека, война была экзаменом, который неизвестно когда состоится, но к которому надо готовиться всю жизнь. И все-таки мысль о близости войны заставила его сейчас нахмуриться. Ощущение, что остается все меньше возможностей хотя бы отодвинуть ее начало, было нерадостным.

Когда Люба, уложив дочь, подошла и села рядом, его лицо удивило ее своим ожесточенным выражением.

– Что с тобой, Костя? Чем ты недоволен?

– Тем недоволен, – сказал он, не тратя времени на предисловия, – что Овчинников получил сегодня в поле за стрельбу по движущейся цели «плохо», а из-за этого рота еле-еле вышла на «удовлетворительно». Вот тебе и твой Овчинников! Бедный, расстроенный! У него жена рожает!

– Она и в самом деле рожает.

– Ну и напрасно! – отрезал Климович и, увидев, что жена улыбается, сердито спросил: – Ну что ты улыбаешься? Не понимаешь, а улыбаешься.

– Чего же я не понимаю, Костя? – продолжала улыбаться жена.

– А того, – не смягчаясь, сказал Климович, – что детей нарожать – это еще не все. Их еще в скором времени защищать придется! А такие, как Овчинников... – Он не договорил и сердито махнул рукой.

– Ну, жене Овчинникова уж поздно передумывать, – полушутя-полусерьезно сказала Люба, – ее рожать увезли.

– Вот именно поздно, – сказал Климович. – А ты не понимаешь.

Он приподнял кипу газет, снова бросил их на стол, встал и заходил по комнате.

– Что ты обедал в штабе, я уже знаю, – терпеливо переждав несколько минут, сказала Люба. – Что не хочешь ужинать, тоже знаю...

– Все ты знаешь, – покосился на нее Климович, подумав, что она действительно всегда и все о нем знает.

– А вот как все-таки, выпьешь или не выпьешь сегодня чаю, – этого я не знаю.

– Выпью, – сказал Климович, и Люба вышла в общий коридор, который одновременно служил им и кухней.

Климович снова сел к столу и вытащил из кармана гимнастерки оба полученных сегодня письма. Он писал немногим, и ему тоже писали немногие: Роза Соломоновна – заведующая детским домом, где он воспитывался, и двое или трое старых сослуживцев. Письмо, пришедшее из Москвы, было как раз от одного из них, капитана Артемьева, заканчивавшего там Академию имени Фрунзе, С этим Артемьевым они когда-то вместе учились еще в семилетке, потом встретились в Проскурове – служили в одном гарнизоне, а теперь Артемьев писал, что надеется после академии попасть сюда, на Дальний Восток.

– Вот, получил письмо от Артемьева, – сказал Климович, когда Люба вернулась с чайником.

– Ах, вот почему так поздно – ты на почте был!

Климович приготовился выслушать выговор, как прошлый раз, но Люба только спросила, что пишет Артемьев.

– Пишет, что заканчивает академию и хочет попасть на Дальний Восток. Может, еще и в третий раз судьба сведет...

Люба налила чаю и подошла к этажерке, где на верхней полочке, без рамок, стояло несколько старых фотографий. На одной из них Климович был снят вместе со своими товарищами по седьмому классу. Они выстроились на школьном дворе в линейку, по росту. Вторым справа стоял Артемьев, здоровый, не по-мальчишески плотный парень с буйной шевелюрой. Климович уже раньше показывал его Любе на этой фотографии. Крайним слева стоял сам Климович, стриженный под машинку, маленький, насупленный, небрежно сунувший руки в карманы.

– Ой, какой ты был смешной! – сказала Люба, глядя на фотографию. – А у меня так и не осталось карточки нашего седьмого класса.

– Почему? – повернулся к ней Климович.

– Нас сняли, а потом оказалось, что все карточки наклеили на паспарту и нужно за них заплатить по три рубля. У меня не было, мама не дала. А потом я все-таки достала деньги, но фотографий уже не было. В общем, глупо вышло, – с досадой сказала она.

Глядя на школьную карточку Климовича, ей вдруг очень захотелось показать ему свою.

Она еще раз взглянула на фотографию. Неужели этот худенький, напыжившийся парнишка – ее Климович, которого она встретила три года назад точно таким же, какой он сейчас: широкоплечим, очень решительным, очень вежливым, очень бритым и, главное, просто немыслимым без военной формы...

– А второе письмо – от Анны Семеновны, – сказал Климович, – на, прочитай.

Люба села напротив за стол и быстро прочла письмо, написанное хорошо знакомым почерком, таким чересчур уж тонким и аккуратным, словно тот, кто писал письмо, пока писал, все время поджимал губы.

Мать Любы, Анна Семеновна, вообще любила поджимать губы и так, с поджатыми губами, едва приоткрывая их, деловито и подробно жаловалась на родных, на знакомых, на

соседей, на плохие по отношению к ней поступки разных людей, на дороговизну, на то, что мало денег, на то, что ее никто не любит. Уже после революции и смерти мужа она, если находила благодарную слушательницу, все еще жаловалась на то, что, происходя из «хорошей семьи», вышла замуж по любви и безрассудству и этим испортила себе всю жизнь.

Люба очень любила своего рано умершего отца, телеграфиста станции Бобруйск, и с детства жила в душевной отчужденности от матери. Мать не работала, пока был жив отец Любы, и не начала работать, когда он умер, хотя тогда ей не было сорока. Она стала получать маленькую пенсию за мужа и ежемесячные деньги от брата мужа, служившего в Киеве, как она говорила, «на большом месте». Кроме того, она круглый год писала длинные и жалостные письма то одним, то другим родственникам, своим и мужа, и иногда получала от них деньги или приглашение погостить.

С пятнадцати лет, едва окончив семилетку, Люба служила машинисткой и содержала мать, отдавая ей все до копейки, но в душе все меньше разделяя ее понятия и все меньше любя ее и, может быть, поэтому редко ссорясь с ней.

Письмо матери было, как обычно, приторно ласковое. Она называла Климовича «милым Костичкой», благодарила за полученные в срок деньги и просила прислать, – если он что-нибудь решит прислать к ее именинам, – лучше всего шаль. «Там у вас, говорят, хорошие шали», – писала она.

Прочтя про шаль, Люба нахмурилось и недоуменно пожала плечами. Никаких шалей, ни хороших, ни плохих, тут и в помине не было.

– Насчет шали? – заметив выражение ее лица, спросил Климович. – Что ты об этом думаешь?

– Думаю, что мы с мамой – совсем чужие люди. И уже давно так думаю. Лет десять.

– Десять? – протянул он с мужской самоуверенностью.

– А ты считаешь, что я начала думать только с тех пор, как вышла за тебя замуж?

Она сказала это мягко, без вызова. И он посмотрел на ее задумчивое, доверчивое лицо. Ведь и в самом деле Люба не родилась в тот день, когда он увидел ее. Она до этого уже семь лет самостоятельно жила и работала и думала о жизни что-то свое собственное, независимое от него, тогда еще вовсе незнакомого ей человека.

– Люба!

– Что?

– А ты сразу решила пойти за меня замуж, когда я попросил тебя? – неожиданно спросил Климович.

– Сразу.

– Ни минуты не колебалась?

– Не колебалась.

Это была правда, она не колебалась.

– А что сказала тогда Анна Семеновна? Ты мне тогда сказала, что пойдешь с ней советоваться.

– Я не хотела с ней советоваться.

– А почему же ты сказала?

– Я уже решила, что выйду за тебя замуж, но пошла к маме, чтобы она не обиделась. Чтобы все было так, как будто я с ней заранее советовалась.

– А что она сказала?

– Ничего.

– Ну, как ничего?

– Ну, все равно что ничего.

– А все-таки?

– Сказала, что стбит.

Что-то в интонации ее голоса задело Климовича.

– В каком смысле стóбит?

Люба посмотрела на мужа. Ей не хотелось отвечать, но она почувствовала, что он все равно повторит свой вопрос еще раз.

– В том смысле стóбит, что ты был старший лейтенант и получал хорошее жалованье.

– Неужели так?

– Так.

– Почему ты мне не сказала тогда?

– Не хотела.

– Неприятно, – брезгливо сказал Климович.

– Конечно, – согласилась Люба. – Ведь мы и не живем с мамой.

Климович посмотрел на нее вопросительно.

– Не живем не потому, что она не хочет, а потому, что я заставила ее сказать, что она не хочет. Потому что я не хотела и все равно бы не стала. – Люба решила довести до конца этот так неожиданно начавшийся, но давно предвиденный ею разговор. – Я не люблю маму. То есть я ее, конечно, люблю, – из чувства долга исправилась Люба, – люблю, но не уважаю. Когда я решила выйти за тебя замуж, я сразу подумала, что мы не будем жить втроем, что нам всю жизнь испортят ее купеческие понятия. Или с мамой, или с тобой. А ты до сих пор не догадался? Да? Ты еще недавно, когда родилась Маечка, написал ей, чтобы приезжала. Да?

– Да.

– А я написала, чтобы не приезжала, и она на меня обиделась, а тебе все время пишет: «Милый Костичка!» Эх ты! – добавила Люба и, смягчая свои слова, прижалась щекой к щеке мужа.

В дверь постучали.

– Войдите, – отстраняясь от мужа, сказала Люба.

Климович повернулся к двери. В комнату вошел Русаков – политрук саперной роты, сосед Климовичей по дому.

– Что, Коля, может, с нами чаю? – спросил Климович.

– Нет, я уже пил, – сказал Русаков, садясь и кладя на стол несколько газетных подшивок и стопку брошюр.

Его появление было обычным. Он почти каждый вечер приходил играть в шахматы или звал Климовича к себе и, пока тот подолгу думал над ходами, отходил от стола и возился со своими тремя детьми. Русакову было уже под сорок, с женой он жил давно, но дети у них появились поздно и были предметом его неумеренной нежности, даже немножко смешной со стороны.

На этот раз Русаков пришел с чем-то важным и носившим служебный характер – Климович понял это не спрашивая. Поняла и Люба. Выждав для приличия минуту, она поднялась и сказала, что пойдет проведать жену Русакова.

– А что же чай? – спросил Климович.

– А я ненадолго. – Люба вышла.

– Умная у тебя жена, – сказал Русаков.

Климович промолчал.

– Уходит сегодня саперная рота.

– Куда?

– В Тамцак-Булак. А там видно будет. Похоже – к границе. Приказали забрать все хозяйство, включая понтоны.

– Что так вдруг? – спросил Климович. – Еще утром ничего не было слышно. Может, потом и всю бригаду двинут?

– Но знаю. Монгольский бронедивизион тоже трогается.

– А я час назад встретил Даваджаба, – сказал Климович, – он еще ничего не знал. Оба помолчали.

– Пришел я вот почему, – сказал наконец Русаков так, словно все, о чем они говорили до сих пор, было делом второстепенным, и положил руку на принесенные с собой газетные подшивки и брошюры. – Мне ведь к Маю доклад надо было сделать.

Климович знал это. На прошлом заседании партбюро Русакову поручили подготовить доклад «Социалистическое строительство и укрепление обороноспособности страны».

– Хорошо, если бы ты взялся, – сказал Русаков. – Бюро, я думаю, возражать не будет. Материалы я уже подготовил, заложил и отчеркнул. Брал главным образом по материалам Восемнадцатого съезда, – Русаков снова дотронулся до газетных подшивок, – но кое-что привлек и старое – по первой и второй пятилеткам. Для сравнения. Чтобы видна была дистанция.

«Придется теперь сидеть по ночам», – мельком подумал Климович и спросил Русакова о том, что с первой минуты их разговора не выходило у него из головы:

– Зачем же все-таки приказано брать понтоны? Если переправу строить, то, значит, через Халхин-Гол, – другой реки там нету.

– Возможно, учения...

Климович недоверчиво пожал плечами.

– Больно уж на носу у японцев...

Прервав их разговор, в дверь вошел посыльный красноармеец и сказал, что Русакова вызывает комиссар бригады.

Русаков встал и надел фуражку. Он молчал, колеблясь, прямо ли проститься с Климовичем или затруднить его одной просьбой личного характера, о которой перед тем, как он пошел к Климовичу, напомнила ему жена.

– Если тут без меня будут переезжать в новые дома, – поколебавшись, сказал он наконец, – ты, я думаю, поможешь моим переехать. И в случае чего напомни начальству насчет двух комнат. Все-таки трое ребят.

– Все будет в порядке, вместе перевеземся, – сказал Климович. – Только едва ли это скоро произойдет. Еще не кончили штукатурить.

Русаков вместо ответа пожал плечами – он не знал, сколько продлится его отсутствие.

– Подожди, я тебя провожу полдороги, – сказал Климович, которому хотелось закончить разговор, прерванный приходом посыльного.

Пошарив на этажерке, Климович нашел запасную батарейку для фонаря, заменил старую и вышел вместе с Русаковым.

Когда Люба вернулась, в комнате никого не было, только за занавеской тихо посапывала Мая.

«Все-таки простудилась вчера вечером, когда гуляла, – подумала Люба. – Надо раньше возвращаться домой».

Она поплотнее задернула занавеску у постели и, подойдя к окну, открыла одну створку, чтобы проветрить комнату.

Город спал. Лишь в той стороне, где размещался штаб, горели маленькие частые огоньки.

«Наверное, пошел провожать», – подумала Люба о муже. Она знала, что он привязан к Русакову и, должно быть, сейчас огорчен его отъездом, о котором ей сказала жена Русакова, Ольга Владимировна.

Подойдя к столу и увидев на нем подшивки газет, оставленные Русаковым, она рассеянно, думая о другом, раскрыла верхний комплект на первой закладке. На газетном листе красным карандашом была отчеркнута небольшая заметка под заглавием: «На строительстве величайшего сооружения в мире».

Обратив внимание на заголовок, она быстро пробежала глазами всю заметку. Там было сказано, что в третью сталинскую пятилетку уже разворачивается строительство величайшего в

мире сооружения – двух Куйбышевских гидростанций. Корреспондент «Правды» связался по телефону с городом Куйбышевом и попросил начальника строительства товарища С. Я. Жук рассказать о том, что делается сейчас на строительной площадке...

Люба закрыла подшивку. Совсем недавно еще только говорили про них и вот уже начали строить эти гидростанции. А в четвертой пятилетке должны закончить.

«Если только не будет войны», – вдруг подумала она.

Чувствуя, как под ноги потянуло холодным воздухом, она подошла к окну, чтобы закрыть его, но вместо этого, став коленками на табуретку, еще долго смотрела в непроглядную монгольскую ночь с маленькими, далекими огоньками, думая о том, что она никогда не говорила мужу, что для полного счастья ей нужно быть с ним не здесь, а пускай в самом захолустном из захолустных, самом обыкновенном из обыкновенных, русском или белорусском городке.

Из-за поворота сверкнули фары, и мимо дома стали одна за другой проходить бронемашин. С силой гудели моторы, и снопы света ложились на откинутые крышки верхних люков. В башнях стояли командиры бронемашин, в шлемах и перекрещенных ремнями кожанках, и, подавая команды водителям, кричали по-монгольски.

Люба сосчитала машины. Последняя была пятнадцатая. Значит, из городка куда-то уходит весь монгольский бронедивизион. Сердце Любы непрошено сжалось, и ей захотелось, чтобы Климович сейчас же, сию минуту, почувствовал это, бросил Русакова, вернулся сюда, стал рядом с ней и успокаивающе обнял ее за плечи своей небольшой сильной рукой.

Глава вторая

В Академии имени Фрунзе царила та особенная атмосфера, которая бывает накануне Первого мая. Заканчивался учебный год. У всех было предчувствие перемен: одним предстоял отпуск, другим – выезд в лагерь. Наконец, завтра всем предстоял парад – и за ним целых три свободных дня.

Только что вышла многотиражка «Фрунзевец» с заголовком «Высоко держать честь академии!» и с портретами выпускников, окончивших академию с отличием. Среди них был и портрет капитана Артемьева. Артемьев заметил это, мельком глянув в газету через плечо знакомого первокурсника. Они оба стояли в очереди, сдавая книги в академическую библиотеку.

– Подари газету, – сказал Артемьев.

– Бери, что с тобой поделаешь, – улыбнулся первокурсник, – вы сегодня именинники!

Сдав книги, Артемьев решил перед уходом домой подняться в буфет, выпить бутылку пива – день был не по-весеннему жарким.

На седьмом этаже, в буфете, было почти пусто. Только за столиком у окна, медленно прихлебывая крепкий чай, сидел майор Хабаров, у которого Артемьев когда-то служил в батальоне.

– Как, товарищ комбат, – по старой памяти спросил Артемьев, подсаживаясь к Хабарову, – может, бросишь чаишко да выпьем пивка? А то скоро расстанемся.

– Что, уже получил назначение?

– Пока нет, ожидаю. Так как насчет пива?

– Не могу, – хриплым голосом сказал Хабаров, – видишь, горло полощу – голос потерял. Был сегодня по путевке МК на «Каучуке», делал доклад о международном положении, – прямо закидали вопросами: отчего да почему? И главное – почему в Испании в конце концов все насмарку? А что им сказать? Я бы им, конечно, сказал, что, окажись там в свое время пяток таких дивизий, как, например, наша с тобой Двадцать третья, так мы бы уж как-нибудь помогли этого Франко вместе с его итальянцами и немцами, как Врангеля, в море скинуть. Но этого же не скажешь!

– Не рекомендуется.

– Вот именно, – по-прежнему с хрипотой в голосе продолжал Хабаров. – Зато уж и по Англии, и по Франции, и по всему их невмешательству, и прочему Шемякину суду проехался, как мог, без дипломатии, будь спокоен! Зачем, говорю, далеко ходить в Испанию, когда у нас перед глазами Чехословакия, которую англичане и французы по первому требованию Гитлера продала ему со всеми потрохами? Как Иуды Искароты!

– Да, уж это действительно без дипломатии! – рассмеялся Артемьев.

– А что мне дипломатия? Я не Литвинов, – проворчал Хабаров и, достав кошелек, стал расплачиваться. – Бывай здоров. Скорей назначение получай, а то истомись, как девка на выданье!

Оставшись один, Артемьев приподнялся со стула и облокотился на подоконник. За верхушками деревьев Пироговского сквера были видны крыши домов Усачевки, где отец Артемьева получил квартиру еще в тысяча девятьсот двадцать седьмом году в одном из первых домов нового рабочего квартала. Отец умер в эту зиму, а у матери, видно, была уж такая судьба, теперь особенно трудная для нее, – то встречать, то провожать за тридевять земель то сына, то дочь. Когда Артемьев после нескольких лет кочевья по дальним гарнизонам приехал поступать в академию, его младшая сестра Маша уехала в Комсомольск-на-Амуре. Теперь она три дня как вернулась, но зато он на днях получит назначение и уедет.

«Как встречные поезда», – подумал Артемьев.

– Вас обещался! – заглянув в буфет и увидев там Артемьева, сердито сказал помощник дежурного по академии. – К начальнику отдела кадров!

Начальник отдела кадров, перед которым через три минуты стоял Артемьев, был немногословен вообще и, кроме того, собрался обедать.

– Наконец-то, – сказал он, запирая ящики стола и привычно одну за другой дергая ручки. – Вам приказано явиться в наркомат. Комбриг Мельников, комната двести семьдесят один, к восемнадцати часам.

Через полчаса Артемьев шагал по коридорам старого наркоматского здания на улице Фрунзе, разыскивая двести семьдесят первую комнату и думая о том, как много людей до него уже спешило по этим коридорам навстречу своим желанным и нежеланным назначениям.

Вот и номер двести семьдесят один. Артемьев открыл дверь в узкую комнату с двумя адъютантскими столами, с двумя дверями, налево и направо, в кабинеты начальников и с двумя жесткими деревянными креслами для ожидающих. Сейчас в одном из этих кресел сидел майор Санаев, товарищ Артемьева по академии, как и он окончивший ее с отличием.

– Только нас двоих вызывали? – спросил Артемьев, садясь.

– Нет, троих, – сказал Санаев. – Бондарчук уже там.

Он кивнул на дверь. В эту секунду дверь отворилась, из нее осторожно вышел сухопарый майор Бондарчук, еще сохраняя то официальное выражение лица, какое было у него в кабинете.

– Куда?

– В распоряжение штаба Дальневосточного фронта, – сказал Бондарчук. Слово «фронт» звучало непривычно.

– А когда ехать?

Бондарчук пожал плечами. Раздался звонок, и адъютант нырнул в дверь кабинета.

– Капитан Артемьев! – выкрикнул он, снова появляясь в дверях, и, сделав паузу и удостоверившись, что Артемьев здесь, низким баском добавил: – Пройдите!

Артемьев прошел в кабинет. За письменным столом сидел полный комбриг, в очках, с коротким сидящим бобриком волос. Он проглядывал личное дело Артемьева.

– Здравствуйте, – сказал комбриг, когда Артемьев представился. – Садитесь.

Он снял очки, положил их на стол, потер тыльной стороной большого пальца переносицу, молча посмотрел на Артемьева и, снова надев очки, на несколько минут углубился в личное дело.

Оно было уже прочтено им заранее, но за те годы, что комбриг просидел в управлении кадров, у него образовалась привычка – после того, как поглядишь на самого человека, еще раз перелистать его дело, сверяя все, что написано о нем в разные годы разными начальниками, с собственным первым впечатлением.

Сидевший сейчас перед ним рослый рыжеватый капитал был чересчур массивен для своих двадцати семи лет, даже, пожалуй, чуть-чуть толстоват, и это не понравилось комбригу. Однако в личном деле капитана не было ничего, говорившего о лени или неподвижности. Наоборот, в графе «физподготовка» стояло «отлично» и было отмечено, что капитан держит личное первенство академии по тяжелой атлетике.

«Должно быть, просто натура такая», – продолжая перелистывать личное дело, подумал комбриг, еще раз мельком глянув на распиравшую воротник крепкую шею Артемьева.

В личное дело были занесены все даты и сведения, которые могли интересовать комбрига: после окончания пехотного училища капитан два года командовал учебным взводом, три года – стрелковой ротой и, наконец, – Академия Фрунзе.

Ротой капитан командовал в пограничном с Ираном горном районе, и командовал отлично, без чего бы ему, разумеется, в двадцать четыре года не видать академии как своих ушей. В академии учился хорошо, потом отлично и после защиты дипломной работы получил

предложение остаться адъютантом при кафедре штабной службы, но отказался и попросился на командную должность.

Сидя у стола, боком к комбригу, Артемьев, не поворачивая головы, искоса видел, как тот время от времени поглядывал на него.

Сегодняшний вызов взволновал его, потому что, по первым приметам, мог закончиться назначением на Дальний Восток.

Еще в адъютантской, узнав, что его вызвали вместе с Санаевым и Бондарчуком, так же, как и он, изучавшими японский язык, Артемьев понял, что вряд ли это простое совпадение. Войдя в кабинет комбрига, он сразу обратил внимание на большую, в полстены, карту дальневосточного театра, где со времени вторжения японцев в Маньчжурию наши войска уже восьмой год находились в постоянной боевой готовности. Назначение именно на Дальний Восток, особенно после прошлогодних хасанских событий, было, по мнению Артемьева, пределом того, чего мог желать для себя человек, избравший военное дело своей профессией.

Уже почти убежденный, что его пошлют на Дальний Восток, но все еще боясь окончательно поверить в исполнение своих желаний, Артемьев следил за комбригом, листавшим его личное дело: неужели там есть что-нибудь, что может помешать его назначению? И, к своей радости, не мог вспомнить. Служба в пограничном районе, казалось, говорила в его пользу. Он еще раз мысленно похвалил себя за выбор дипломной темы – «Японский офицерский корпус в войне 1904 – 1905 гг.». Тема была военно-историческая, но сейчас она звучала современно, что и было отмечено на кафедре. Наконец, язык. Японским языком в академии занималось не так уж много людей, и Артемьев считался одним из лучших.

– Скажите по совести, – комбриг отложил личное дело и поднял на Артемьева глаза, – что означает оценка «хорошо» по японскому языку? «Хорошо» со словарем или «хорошо» без словаря?

– «Хорошо» со словарем, «удовлетворительно» без словаря, – честно сказал Артемьев.

– А разговорная речь? – прищурившись, спросил комбриг.

– С преподавателем друг друга понимаем, – не удержавшись, усмехнулся Артемьев.

– А дальнейшее – пока загадка, так, что ли?

– Другой практики пока не имел, но хотел бы иметь!

Комбриг улыбнулся и отодвинул от себя личное дело, как что-то, к чему он уже не собирается возвращаться.

– Итак, академию окончили отлично?

– Так точно.

– С чем и поздравляю, как выпускник тысяча девятьсот двадцать девятого года, – сказал комбриг.

Он снял очки, положил их на личное дело Артемьева и так же, как и в первый раз, слегка потер переносицу.

– На здоровье жалоб нет?

– На здоровье не жалуясь, товарищ комбриг. – Артемьев невольно скосил глаза на свою фигуру и с трудом удержал улыбку.

Комбриг чуть пожал плечами, как бы говоря, что в таком вопросе нельзя доверять ни внешнему виду, ни личному делу.

– Служить на Дальнем Востоке хотите?

– Хочу, товарищ комбриг!

– Командование намерено отправить вас в распоряжение штаба Дальневосточного фронта для использования на оперативной или разведывательной работе. Как? – спросил комбриг, вскидывая глаза на Артемьева и произнося это «как?» больше для того, чтобы закончить фразу, чем для того, чтобы спросить мнение Артемьева.

– Слушаюсь! – радостно и громко отчеканил Артемьев.

– Выезд в ближайшие дни, – сказал комбриг, всем своим видом давая понять, что он и не ожидал иного ответа. – С завтрашнего дня у дежурного по академии, где бы вы ни находились, должны оставаться ваши координаты!

Из наркомата шли втроем по уже начинавшему чуть-чуть зеленеть Гоголевскому бульвару. Говорливый майор Санаев, так же, как и Артемьев с Бондарчуком, получивший назначение в распоряжение штаба Дальневосточного фронта, шел своей приплясывающей, легкой походочкой, то и дело во время разговора забегая вперед и полуоборачиваясь. Он был в прекрасном расположении духа, радовался, что завтра они, как выпускники, окончившие академию с отличием, впервые будут во время парада стоять на трибунах и смотреть оттуда, как проходит их академия. Ему сейчас не хотелось говорить ни о чем серьезном, – на его лице, похудевшем за два последних бессонных месяца, блуждала безотчетно счастливая улыбка...

– Там, говорят, повсюду прекрасная охота. Будем по воскресеньям охотиться.

– Или готовиться к командирской учебе, – насмешливо сказал Артемьев.

– Ну уж, сказал! В таких местах или командир части, или комиссар, или хоть начальник штаба – кто-нибудь да непременно охотник. Авось найдется добрая душа, понимающая наши с тобой охотничьи души...

– Эх, Александр Ревазович! – сказал Артемьев, полуобняв за плечи Санаева, с которым он ближе всех сошелся в академии и очень хотел бы служить вместе. – Боюсь, что в разных местах и разные командиры и комиссары будут понимать наши с тобой души.

– Санаев думает, что Дальний Восток – как его Осетия: с горы на гору все видно, – сказал Бондарчук. – А Дальний Восток – больше, чем Европа. Ты будешь сидеть где-нибудь в Посьете, а он в Борзе, и будет от тебя до него как от Норвегии до Португалии.

– А ты где расположишься? – спросил Артемьев.

– Где-нибудь посередине. Я человек многосемейный, мне лучше без крайностей.

«В самом деле, – подумал Артемьев, – Дальневосточный фронт: Забайкалье. Хабаровск. Приморье, Камчатка! Целый материк! Можно прожить там пять лет и не только не встретиться с тем же Климовичем, но так и не узнать, что за точка скрыта за его почтовым ящиком 213/7».

– На днях женюсь, – вдруг сказал Санаев.

– До отъезда?

– До отъезда.

– А долго ухаживал? – спросил Артемьев.

– Год! – серьезно ответил Санаев.

– А вдруг не поедет за тобой в такую даль?

– Поедет! – весело воскликнул Санаев, и в глазах его выразился весь восторг, который он испытывал от уверенности, что эта женщина поедет за ним хоть на край света.

Они остановились у входа в метро «Дворец Советов».

– Санай-нару киодай дайсека о нозоми-мас, – улыбнувшись, произнес Артемьев высоко-торжественную японскую фразу, означавшую по-русски: «Желаю моему почтенному собрату наилучших успехов во всех делах».

– Аригато! – тоже по-японски поблагодарил Санаев, поспешно пожал рук и. товарищам и скрылся в вестибюле метро.

Бондарчук и Артемьев пошли по Кропоткинской улице. Бондарчук собирался зайти в академию, Артемьеву было по пути.

– О чем думаешь? – спросил Артемьев.

Бондарчук уже несколько минут шел молча, глядя себе пор ног.

– О другом, чем ты.

– Почему о другом?

– А потому, что того, о чем я думаю, у тебя нет. О жене думал, – сказал Бондарчук и задумчиво добавил: – Тебе – даешь Дальний Восток! А мне – и хочется и колется. Вот иду

и думаю: где буду служить, какие будут жилищные условия, скоро ли можно будет перевезти семью. И где детей учить? И главное – что будет там делать жена? Работа по ее специальности, гравером, у нее там навряд ли будет. Значит, или опять придется превращаться в командирскую жену, или менять профессию. Видишь, сколько мыслей сразу. Это не то что ты: чемодан в руки – и здравствуй, Камчатка! Ну, что скажешь?

Но Артемьеву нечего было сказать на это, и они несколько шагов прошли молча.

– Если попадем куда-нибудь в город побольше, – сказал Бондарчук, – может быть, устроится ретушером. Все же отдаленно похоже. Хотя радости мало. Ну, а если в тайгу, в сопки?

– А что, если бы ты... – начал было Артемьев.

– ...доложил по начальству, – прервал его Бондарчук, – что в связи со столичной профессией жены майор Бондарчук не может служить на периферии?

– Неужели же ничего нельзя придумать? – неуверенно спросил Артемьев.

– Придумывать не берусь. Полного счастья на все случаи жизни даже для гражданских еще не придумано, а тем более для нашего брата, военного. И все-таки не завидую тебе, что ты холостой. Жена, если хочешь знать, – вторая душа.

Сказав это, Бондарчук потом всю дорогу до академии молчал. По его мнению, он и так слишком разоткровенничался.

Артемьев тоже молчал. Бондарчук был прав, не завидую ему. Завидовать было нечему, женщина, с которой Артемьев был близок и о которой еще недавно, хотя и с некоторыми колебаниями, думал как о будущей жене, не поехала бы с ним ни в Проскуров, ни в Ахалцих, ни на станцию Борзя, хотя у нее и не было редкой профессии, как у жены Бондарчука. Наоборот, у нее была самая заурядная профессия секретарши, временно избранная ею между вузом, который она окончила от нечего делать, и замужеством, к которому она, кажется, относилась слишком по-деловому для того, чтобы выйти замуж за капитана Артемьева.

Артемьев сначала не понял этого, а потом хотя и понял, но не до конца.

Когда-то, в школьные годы, он был по-мальчишески равнодушен к своей однокласснице Наде Караваевой, одной из самых красивых и, как говорили мальчишки, «много воображавших о себе» девочек из 47-й трудовой школы. Уехав в училище, он совершенно забыл о ней. Но год назад в трамвае его окликнула по имени высокая молодая женщина, в которой он не сразу узнал Надю.

Надя тогда только что окончила вуз и только что разошлась с мужем, своим однокурсником; он оказался человеком с характером и, собрав чемоданы, уехал один в далекий город, трудное название которого Надя не могла и, главное, не хотела выговаривать. Как впоследствии выяснил Артемьев, это был город Сыктывкар.

Относиться с иронией к этому событию в жизни Нади Артемьев научился много позже, а тогда, год назад, покорно глядел на ее прошлое ее глазами.

Конечно, было смешно вспоминать об их отношениях в школе, но, когда возникли новые отношения, Надя захотела и сумела протянуть тонкую ниточку к старым, и эти отношения неожиданно для Артемьева приобрели давность и силу.

Артемьев нравился ей, и ей хотелось, в свою очередь, нравиться ему, тем более что, несмотря на всю его влюбленность, помыкать им оказалось не так-то просто. Та сила характера, которую он время от времени давал ей почувствовать, и раздражала и притягивала к нему.

Как ни странно, но, может быть, именно эта сила характера и заставляла Артемьева долго обманываться в Наде. Он видел ее суетность и довольно трезво судил о ее меркантильных взглядах на жизнь. Но ему казалось, что у него достаточно воли, чтобы постепенно переменить все это. В длительности этого заблуждения, конечно, не последнюю роль играла и редкая красота Нади.

Надя была красива, молода, неглупа, находчива. Она в высшей степени обладала тем покоряющим озорством, которое люди так часто и так ошибочно принимают за истинную сме-

лость. Она могла, не уступая мужчинам, прыгнуть с вышки, или три раза взад и вперед переплыть Москву-реку, или в ливень, стащив чулки и модные туфли, прошлепать босиком через весь город, или вдруг поцеловать смущенного Артемьева при всех в губы на самой людной улице.

Но без оглядки навсегда связать свою жизнь с человеком, который будет жить неизвестно где и неизвестно как – хорошо или плохо, – на эту простую смелость, которую вовсе даже и не считают смелостью тысячи других женщин, Надя была решительно не способна. Она, в общем, не скрывала своих отношений с Артемьевым и иногда, когда он оставался ночевать у нее, вскочив рано утром и наспех собрав ему завтрак, чтобы он не опоздал в академию, даже шутила:

– Мы с тобой теперь совсем как муж и жена!

Но ни переехать к нему, ни позвать его жить к себе она не решалась. Он считал, что не решалась. А она сама уже знала, что боится и не хочет этого.

Отъезд из Москвы, риск многолетних скитаний, на которые можно оказаться обреченной, выйдя замуж за Артемьева, пугали ее. Зная, что Артемьев терпеть не может таких разговоров, она все же упорно стремилась узнать, останется ли он после академии в Москве, если она решительно потребует этого. В глубине же души она сначала неопределенно, а потом все настойчивей надеялась встретить еще какого-то другого человека.

Артемьев не знал этого, но чувствовал что-то неладное, и, очевидно, то же самое чувствовали его мать и его отец. Каждый раз, когда к ним в дом приходила Надя, они встречали ее молчаливым внутренним сопротивлением, в котором не было ни гнева, ни укора, а только один постоянный невыговоренный вопрос: «Ты ведь чужая нам. Почему и для чего ты здесь?»

Отец Артемьева так ни разу и не заговорил с ним о Наде и только уже больной, незадолго до смерти, вдруг сказал сыну:

– Поскорей женись. И заведи мне внуков.

И Артемьев понял по его глазам, что эти слова не имели никакого отношения к Наде. Наоборот, они исключали ее.

Однако расстаться с Надей было не так-то легко, даже когда он почувствовал, что она все меньше думает о нем как о человеке, за которого выйдет замуж. Он и сам все с большим трудом представлял ее своей женой. Но от этого трезвого чувства до решимости порвать с ней было еще очень далеко.

Лишь недавно все это резко изменилось. Сразу по многим признакам, которые трудно точно объяснить даже самому себе, Артемьев почувствовал, что привычная колея их встреч чем-то стесняет Надю, и, пересилив себя, не приходил к ней почти месяц.

Неделю назад она сама неожиданно пришла к нему.

– У меня есть к тебе одна глупая просьба, – сказала она с той робкой лаской, которая бывала у нее предвестницей лжи. – Ты, конечно, вправе отказать, и я не обижусь.

– Не понимаю.

– У меня глупый характер, – сказала она. – Я не люблю воспоминаний, даже хороших. Когда плохо, лучше, чтобы их не было. А если снова будет хорошо, они все равно не нужны.

– Извини за тупость, все еще не понимаю, – угрюмо повторил Артемьев.

– У тебя есть мои письма и записочки.

– Хорошо, я их сожгу... – начал он, но, встретясь с ней глазами, понял, что она хочет не этого. – Хорошо, я их тебе верну, – торопливо сказал он, чтобы не дать ей возможности добавить что-нибудь такое, что его окончательно взбесит. Положив пачку писем на стол, он вышел из комнаты, не желая просить, чтобы Надя ушла, и не в состоянии оставаться с нею.

Он даже и сейчас вспыхнул, вспомнив об этой минуте, когда он понял, что она решила выйти замуж за кого-то другого.

– До завтра. – Бондарчук остановился на углу, напротив академии, и, задержав руку Артемьева, улыбнувшись, спросил: – Может, и ты за оставшиеся дни пойдешь по стопам Санаева?

– Вряд ли, – мрачней от этой невольной сказанной шутки, ответил Артемьев.

Дойдя до дома и поднявшись по лестнице к себе на второй этаж, Артемьев сначала увидел лежавший у дверей квартиры разбухший портфель из тех, что берут в дорогу вместо чемодана, и только потом – долговязого человека, который стоял на площадке под лампочкой и читал перегнутую пополам книжку, высоко подняв ее над головой.

Долговязый человек был Синцов, школьный товарищ и ближайший друг Артемьева, работавший сейчас заместителем редактора районной газеты в Вязьме. Он обычно, приезжая в Москву на праздники, останавливался у Артемьева и на этот раз вырвался раньше, чем обычно, – Артемьев ждал его только завтра.

Увидев Артемьева, Синцов сунул книгу в карман и молча протянул руку.

Через пятнадцать минут, кое-как накрыв на стол, они оба сидели и усердно ужинали.

«Сказать ему заранее о приезде сестры или не говорить?» – спрашивал себя Артемьев. Он знал, что с тех пор, как Маша уехала на Дальний Восток, Синцов переписывался с ней и, судя по некоторым признакам, их отношения, начавшиеся до ее отъезда, в разлуке не только не ослабели, а, напротив, повернулись самым серьезным образом.

Синцов никогда не распространялся на эту тему, но в последнем письме Маши была туманная фраза о том, что, приехав в Москву, она вообще должна решить свою судьбу. Артемьеву показалось, что эта фраза относится к Синцову, и он лишь укрепился в своем убеждении, когда, приехав три дня назад, Маша с подозрительной сдержанностью спросила только одно – будет ли Синцов на Первое мая – и больше не спрашивала о нем ни слова.

«Нет, не скажу, – усмехнулся Артемьев, посмотрев на часы, – скоро сама вернется».

У Маши была путевка в Крым, через неделю она уезжала, а пока что, не теряя времени, с первого дня приезда ходила по московским театрам со своей тоже приехавшей в отпуск подружкой по Комсомольску-на-Амуре. Маша почему-то задумала выдать ее замуж за брата и очень сердилась на Артемьева за то, что тот не проявлял никакого внимания к этой, очевидно, очень хорошей, но совершенно не нравившейся ему женщине.

– Чего ты улыбаешься? – спросил Синцов, отрываясь от пирога с капустой.

– Так, – сказал Артемьев, – вспомнил об одном плане моей женитьбы.

Глаза у Синцова стали сердитыми. Он не любил Надю и сейчас подумал о ней.

– Не трать зря пороху! – сказал Артемьев. – С тем, о чем ты подумал, конечно. Доедай лучше пирог – доставишь удовольствие матери.

– А где Татьяна Степановна?

– Почти не вижу ее теперь. А тем более под Первое мая. Все рухнет без нее, если она ночь не продежурит: завод на демонстрацию не выйдет, горячие завтраки остынут, детская комната останется без обедов!

Артемьев начал говорить улыбаясь, но вспомнил об отце и помрачнел. Мать пошла заведовать заводской столовой через неделю после смерти отца. Она легко дала уговорить себя на это товарищам покойного мужа, которые в данном случае думали больше о ней, чем о столовой, зная, что вылечить ее, оставшуюся в одиночестве после тридцати пяти лет жизни со своим Трофимом Никитичем, может только забота о людях.

– Словно всю жизнь она заведовала этой своей столовой, – помолчав, сказал Артемьев. – Мне старики на заводе говорили, что даже и не ожидали. Тоскует после смерти отца. Кроме существующих дел, придумывает себе несуществующие.

«И верно, – подумал Синцов, оглядывая комнату, – как ей привыкнуть к тому, что здесь нет больше Трофима Никитича, если это нелегко даже мне, чужому человеку».

Как все знакомо Синцову в этой квартирке! Он помнил ее обстановку еще совсем новенькой, двенадцать лет назад, когда они учились с Артемьевым в седьмом классе и Трофим Ники-

тич только что получил эту квартирку от завода. Люди, жившие здесь, почти не меняли и не обновляли вещей, не имея привычки особенно замечать их. Вещи были почти все те же, что расставлялись на новоселье. Прибавилось только много книг да крошечный токарный станочек и тисочки, пристроенные Трофимом Никитичем к подоконнику, после того как он захворал и вышел на пенсию.

– Так как же, Павел, со службой? – спросил Синцов. – Останешься здесь, с матерью, или уедешь? Когда выпуск?

– Торжественный выпуск через неделю, – сказал Артемьев, – но с назначением уже решилось: на днях уезжаю на Дальше Восток.

Синцов встал из-за обеденного стола и, в два шага перейдя своими длинными ногами комнату, сел за письменный стол Артемьева, с трудом помещаясь за ним. Ему хотелось спросить о Маше, но он сделал над собой усилие и не спросил.

– А какая будет работа – строевая или штабная?

– Скорей всего, штабная.

– Доволен?

– Как тебе сказать...

Артемьев задумался, прежде чем ответить. При всем том вкусе к штабной работе, который привила ему академия, он продолжал любить строй и сам еще не знал, что в конце концов возьмет в нем верх.

– Да, в общем доволен, – сказал он, помолчав. – В штабной работе, если хочешь знать, есть своя романтика. В войсках мало кто знает, что это ты, – оператор, в скромном звании капитана или майора, – сидя в штабе, получив от командования идею решения, планировал проведение и обеспечение операции, в которой будут участвовать дивизии и корпуса, продумывал, разрабатывал и подсчитывал, потом доложил, и вот тысячи людей, повинувшись этому плану, двинулись в бой. И к тебе и к другим, таким же, как ты, в штаб сходятся донесения. Ты видишь, как войска идут, дерутся, останавливаются, спят, готовятся к атаке. Ты берешь карандаш, и вся эта жизнь войск опять ложится на карту, которую вместе с вечерней сводкой изучает командование перед тем, как принять новое решение. На план, над которым ты работал, обрушиваются сотни неожиданностей, он проходит через испытание ими. А ты тем временем уже работаешь над контрмерами, над вариантами, не вылезая, не шумя, в сознании своей силы и знаний, работаешь, как говорится, оставаясь в тени и в то же время чувствуя свою необходимость для армии. Вот что такое штабная работа. А теперь спрашивается: как ее не любить?

Артемьев замолчал и усмехнулся, недовольный собственной горячностью.

– А ты не стесняйся, – сказал Синцов. – Чего замолчал?

– А я не стесняюсь. В этом моя жизнь. Я ведь в армию пошел не из-за хромовых сапог со шпорами. Ну что уставился на меня?

– Здоровенный ты стал! – ответил Синцов первое, что пришло на ум. Он был еще не готов высказать вслух завладевшие им мысли.

– Спортом занимаюсь! А ты у себя в газете каждый год агитируешь за допризывную подготовку, а призовут самого – так, наверно, старшина с ног собьется, пока перестанешь путать левую с правой!

– О войне я много думал, – серьезно сказал Синцов. – Особенно последнее время, после истории с Чехословакией, и думаю, что морально готов к войне. Кем угодно – газетчиком, политработником, бойцом, – все равно.

– Вот именно «морально»! – насмешливо повторил Артемьев. – А попадешь на фронт бойцом, там от тебя потребуется пять в яблочко, а не только моральная готовность к этому. И умение совершить, не стерева ноги, дневной переход с полной выкладкой, а не только...

– Ну, положим, в смысле дневных переходов, – перебил Синцов, – особенно в посевную и уборочную, районные газетчики еще некоторым военным десять очков вперед дадут.

Он встал из-за стола и потянулся.

– По-моему, тебя ко сну клонит.

– Да. Всю ночь готовил праздничный номер, а в поезде ехал на сидячем месте. Колебался даже – ехать ли? Редактор отпустил только до второго.

– По-прежнему не ладите с ним? Ничего нового? – спросил Артемьев, кладя руки на плечи Синцову и, несмотря на свой высокий рост, все-таки глядя ему в лицо снизу вверх.

– А что тут может быть нового? Я не переменялся, он тоже. Вот и спорим.

– О чем?

– Обо всем... Убери руки, рассуждать мешаешь. Например, так. Есть проблема в нашем районном масштабе, большая, метровая, – И Синцов широко раздвинул свои длинные руки, показывая, какая большая проблема. – Я за то, чтобы ее поднять. И он за то, чтобы ее поднять. Но я за то, чтобы ее, такую вот, метровую, всю и вдвинуть в газету, а он... У него метр знаешь какой? Складной, как у плотника. Я за то, чтобы проблему ни проглотить, ни обойти нельзя было, а он за то, чтобы ее в карман можно было положить.

– Ну ладно, – сказал Артемьев, – редактор редактором, а как твоя повесть?

– Какая повесть? Что за чепуха?

– Не отпирайся. Все равно мне Маша об этой сказала... написала, – поправился Артемьев. – Написала, что ты ей об этом писал. Писал?

– К сожалению, писал.

– Почему к сожалению?

– Потому что все это бред и чепуха, попытки с негодными средствами, потуги районного газетчика.

Синцов хотел еще как-нибудь обругать себя, но, не найдя слов, сердито замолчал.

– Когда Маша тебе об этом написала? – прервав молчание, спросил он.

– Месяц назад, – с запинкой сказал Артемьев.

– Странно. Я не получал от нее писем уже два месяца.

– Действительно странно.

Синцов внимательно посмотрел на Артемьева. Он не любил, чтоб его дразнили.

– И это после того, – сказал Артемьев с сочувственно-серьезным выражением лица, – как мне, брату, три года посылала только открытки, и то по большим праздникам, а тебе, совершенно постороннему человеку, писала ежемесячные отчеты с изложением фактов своей биографии и своих речей на комсомольских собраниях. Ой, Ваня! Уж не появился ли там какой-нибудь комсомолец на Амуре?

Теперь сомнений не было: Артемьев дразнил его, и, по мнению Синцова, совсем некстати.

– Вот что, – сказал он медленно и сердито, – с моими письмами к Маше и с ее письмами ко мне – длинные они или короткие – я разберусь сам. От тебя требуется только одно: раз ты получил от нее письмо, скажи: здорова ли она? Это все, что меня интересует.

Он дотянулся рукой до ближайшего стула, швырнул его под себя и, сердито усевшись напротив Артемьева, с удивлением увидел, что тот вместо ответа только молча улыбается куда-то мимо него...

Отворив своим ключом парадную и заглянув из передней через приоткрытую дверь, Маша в первую минуту не сообразила, что это рухнул на стул и сидит к ней спиной именно Синцов, а не кто-нибудь другой, – настолько неожиданным для нее было его присутствие в эту минуту и в этой комнате. И, поняв, что это Синцов, она, продолжая стоять в дверях, только через полминуты проговорила не своим, как ей показалось, голосом:

– Здравствуй, Ваня!

Однако этот голос, хотя он показался ей чужим, был именно ее голос, и Синцов узнал бы его даже на другом конце идущего через всю Сибирь провода.

Он встал, на ходу протягивая руки. Он еще не понял, ни почему она здесь, ни что это значит для него, но он понимал, что это Маша, и всю его долговязую фигуру тянуло к ней через комнату неотвратимо, как плот по течению.

Через мгновение ее маленькая рука была погребена в его ладонях, и он тряс ее, заглядывая Маше в глаза и низко наклоняясь к ней с высоты своего роста.

– Хоть руку перехвати, возьми другую – оторвешь! – сказал Артемьев.

Но они даже не услышали, что он сказал: кругом них стояла ничем не нарушаемая, счастливая тишина. И только когда Артемьев, подождав еще минуту, громко сказал им: «Хоть бы сели!» – они, вернее, Маша услышала и, не отнимая руки, которую Синцов по-прежнему держал в своих ладонях, повела его за собой к столу.

– Сядем, – тихо сказала она.

И они сели, все еще держась за руки. Только тут Маша вспомнила, что она не сняла плаща и берета. С беретом дело было легко поправить, она просто стряхнула его с волос левой, свободной рукой, но плащ невозможно было снять, не заставив Синцова отпустить ее руку, а этого она как раз и не хотела.

Артемьев подошел к ней сзади и, толкнув Синцова в плечо, сказал:

– Отпусти на минуту.

Синцов отпустил Машину руку. Артемьев снял с сестры плащ и, сказав: «Теперь можешь взять обратно», – с плащом в руках вышел в переднюю.

«Кто их знает, может, это они при мне не хотят целоваться», – подумал он, но, вернувшись, понял, что они не воспользовались его отсутствием. Синцов по-прежнему держал Машу за руку и смотрел на нее с таким молчаливым изумлением, словно она говорила ему какие-то удивительные вещи.

Но Маша ничего не говорила, и это больше всего удивило Артемьева. Этого не могло быть, но это было так. Сестра сидела неправдоподобно притихшая, даже, как показалось Артемьеву, напуганная. И он был прав в своем ощущении. Если Синцов в эту минуту, не думая ни о прошлом, ни о будущем, был просто счастлив присутствием Маши, то Маша была прежде всего испугана его присутствием, вернее, силою того чувства, которое заговорило в ней, когда она увидела его.

Она вдруг почувствовала, что это не тот, прежний Ваня Синцов, с которым она целовалась три года назад и перед отъездом в Комсомольск не до конца серьезно обещала подумать о том, чтобы выйти за него замуж после возвращения, не тот далекий Ваня Синцов, который писал ей эти три года необыкновенные письма, и не тот воображаемый на расстоянии Ваня Синцов, перечитывая письма которого она в минуты откровенности говорила подруге: «Знаешь, мне иногда кажется, что я все-таки его люблю». Нет, это был большой, сильный и нетерпеливо ждавший ее человек, перед которым нужно было держать ответ: люблю я его или не люблю, выйду за него замуж или не выйду.

И все это нужно было решать ей самой, потому что он сам ничего не решит. Не решит не потому, что он вообще нерешительный, а потому, что ему нечего добавить к тому, что он ей уже давно сказал и что повторяет ей сейчас своим полным любви взглядом.

– Ну, скажите же что-нибудь, а то я уйду, – вставая, взмолился Артемьев. – Может, я вам мешаю?

Маша вскочила, подошла к брату и, удерживая, обняла его. Она была рада, что он здесь и что можно говорить с ним, думая в это время о Синцове, а то, о чем нужно говорить с Синцовым, оставшись вдвоем, можно отложить хотя бы до завтра.

Что до Синцова, то ему было сейчас совершенно все равно: будь здесь Артемьев или еще десять человек, он видел одну Машу, и этим исчерпывались все сношения его души с внешним миром.

– Павел говорил мне, что ты приедешь только завтра, – сказала Маша, снова садясь рядом с Синцовым, и вдруг сердито спросила: – Неужели он тебе так и не сказал, что я уже три дня здесь?

– Каюсь! – Артемьев поднял руки над головой. – Говоря военным языком, обеспечил внезапность с обеих сторон.

Предоставив им возможность молчать, говорить или выйти из комнаты, – словом, делать все, что им вздумается, он встал из-за стола и прилег на диван, положив руки под голову и полузакрыв глаза.

Прислушиваясь краем уха к тихому разговору за столом, он думал о своих собственных отношениях с Надей. Человек по натуре чуждый двусмысленности в отношениях с людьми, он сейчас думал о том, что их отношения с Надей в последнее время носили как раз двусмысленный характер. «Хорошо, что я уеду и больше никогда ее не увижу, – подумал он и тут же против воли спросил себя: – Неужели вот так и не увижу? Очень просто, вот так и не увижу, – сердито объяснил он сам себе. – Не увижу, как не увидят больше человека, которого нет, который умер. Не увижу, как не увижу ее школьную подругу Лену Попову, умершую в шестом классе от скарлатины. Именно так и не увижу. А вот Маша и Синцов увиделись. И ничто им не помешало, даже три года разлуки. Сидит теперь и смотрит на своего Синцова, как счастливая дурочка».

Он спустил ноги на пол и посмотрел в их сторону. Маша и Синцов по-прежнему сидели за столом, и Синцов все еще, как при встрече, держал руку Маши.

– Что ж, – подумав, что это может продолжаться до бесконечности, сказал Артемьев, – пожалуй, спать пора, постели нам с Синцовым, я ему поставлю раскладушку.

Маша встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату за постелями.

Синцов, чтобы не путаться под ногами, сел за письменный стол, а Артемьев стал доставать засунутую между столом и шкафом раскладушку. Для того чтобы достать ее, ему пришлось сначала снять нагроможденные поверх нее охотничье ружье, патронташ, сумку, велосипедную раму, ботинки с коньками и бильярдный кий в чехле.

– Собственный кий завел, – сказал он, бережно приставив кий к стене. – Зимой на соревнованиях играл. Исключительно хороший и по руке – можешь посмотреть.

– Не интересуюсь, – сказал Синцов, – а вот ружье дай-ка сюда! Я у тебя его не видел.

– Новое, бескурковое, – сказал Артемьев, – сменил с доплатой. Исключительного боя ружье!

– Ноздрев! – усмехнулся Синцов.

– Что Ноздрев?

– Ты Ноздрев. Давай ружье.

Синцов, продолжая сидеть за столом, вынул ружье из чехла и начал внимательно разглядывать его.

– Стели, – сказал Артемьев, поставив раскладушку и оглянувшись на вошедшую с постелями сестру. – Нечего Синцова разглядывать! Ничего в нем особенного нет!

Маша не ответила и начала стелить сначала на диване, а потом на раскладушке, по-прежнему время от времени поглядывая на Синцова, который с преувеличенным вниманием продолжал рассматривать ружье исключительного боя.

«Боже, какой он большой! Он еще вытянулся! – думала Маша. – И все-то у него не так! Вот сидит и горбится, а плечи у него на самом деле широкие, не уже, чем у Павла. Бреется, наверное, сам: один висок еще ничего, а другой совсем сбрит. А прическа! Он-то, наверное, думает, что у него пробор, по об этом только я могу догадаться! Да и не нужно ему никакого пробора. В сущности, у него даже красивые волосы. И надо их зачесывать назад, и больше ничего... И галстук нужен другой. И завязывать его шире, а не такой веревкой. А воротничок рубашки надо, наоборот, перешить туже. Болтается так, словно у него гусиная шея. А у него самая нормальная: не бычья, как у Павла, но и вовсе не гусиная... А пиджак!»

Маша даже громко вздохнула. Её деятельной натуре хотелось сейчас же, немедленно, все переделать и перелепить в Синцове.

– Ну вот и готово, – сказала она, кончив застилать раскладушку и выпрямляясь.

Артемьев стащил через голову гимнастерку и, закатывая на ходу рукава рубашки, вышел умываться.

Маша прислонилась к стене за спиной Синцова и легонько провела рукой по его волосам. Он замер, продолжая держать в руках ружье. Маша думала, что он что-нибудь скажет, но он молчал, и она, испугавшись его молчания, отняла руку.

– Ты что делаешь утром? – спросила она.

– Ничего.

– Хочешь, пойдем завтра на демонстрацию со мной, с нашим заводом?

– И меня пустят в вашу колонну? – При этих словах он повернулся к Маше.

– Со мной пустят!

Теперь он любовался ею, глядя на нее вполоборота. Она стояла рядом, маленькая, только немножко выше его, когда он сидел, и ее, быть может, и некрасивое, но прелестное курносое, загорелое лицо сейчас, несмотря на строго сдвинутые брови, было таким растерянным, что он чуть не задохнулся от волнения.

– Я готов, – сказал Артемьев, входя, – Пользуйся левым от умывальника полотенцем – оно чистое.

Синцов с неохотой встал, хотел было снять пиджак и повесить его на спинку стула, но при Маше не решился и пошел умываться в пиджаке.

Когда он вернулся, Маши уже не было в комнате, Артемьев сидел на диване и, побрякивая, стаскивал тугие сапоги.

– Погаси верхний свет, – сказал он и, в носках подойдя к письменному столу, зажег настольную лампу и раскрыл книжку.

Синцов повернул выключатель и, быстро раздевшись, лег под одеяло.

– А ты чего не ложишься? – спросил он через несколько минут.

– Приобрел привычку полчаса перед сном читать что-нибудь не по специальности, а то от одной военной литературы стали мозги сохнуть.

В дверь тихо постучали. Это была Маша. Она пошла спать во вторую комнату, где стояла старая широкая кровать, на которой умер отец; пошла и вернулась. Вчера и третьего дня она спала там вдвоем с матерью. Она знала, что сейчас возьмет себя в руки, но, перед тем как остаться там в комнате одной, ей захотелось еще раз услышать живые, громкие голоса брата и Синцова, все равно о чем – еще минуту поговорить с ними.

– Вы еще не спите? – спросила она.

– Нет, – сказал Артемьев. – А что?

– Во-первых, спокойной ночи, – сказала Маша через дверь, – Во-вторых, когда тебя будить?

– Не надо. Я завтра буду на трибунах, встану позже тебя, в восемь. Спи, пожалуйста.

– Хорошо, – сказала Маша. – Я, когда буду уходить, поставлю будильник около тебя на стуле, а то проспишь.

– Спасибо.

– А тебя, – все так же через дверь обратилась Маша к Синцову, – я разбужу в семь, когда уже сама соберусь. Ты ведь быстро оденешься.

– Конечно, – сказал Синцов.

– Поспишь лишнего полчаса. А то, наверное, вчера выпускал до утра газету.

Она погасила свет в передней, вернулась в комнату матери, сбросила туфли и прилегла на кровать, не раздеваясь, поджав ноги и задумчиво подперев кулаком подбородок.

Настольная лампа была поверх абажура накрыта серым пуховым платком Татьяны Степановны; казалось, что где-то за пеленой тумана горел маленький, далекий костер.

Вот так в первые месяцы, приехав из Москвы в Комсомольск, она сидела вечерами, глядя на огонь костра, и упрямо говорила себе, что все правильно, что она верно сделала, что не стала отказываться и поехала.

Ехать в Комсомольск ей, по мнению отца, было вовсе не обязательно, тем более не окончив своего электротехникума. Но она, когда ее вызвали в комитет комсомола, сразу сказала «да», и уговорить ее пойти на попятную оказалось невозможным.

Синцову она сказала об этом не сразу, а день отъезда все близился, и когда она наконец собралась с духом и сказала ему о своем отъезде, он, побледнев, спросил только одно: «Сколько дней остается?» – повернулся и ушел. Чувствуя себя виноватой, она искала его, приходила к нему в институт и в общежитие, но он неделю не ходил на занятия, ночевал неизвестно где, так и не появился до самого дня ее отъезда.

Ее провожало много народу. Были подруги по техникуму и товарищи с завода. Был Павел, приехавший сдавать испытания в академию. Был отец, молчавший и откровенно недовольный, и мать, старавшаяся казаться веселой.

Шел сильный весенний дождь, Синцов пришел позже всех и стоял под дождем сзади всех, без пальто и кепки, подняв воротник своего кургузого пиджака, сгорбившись и зябко засунув длинные руки в карманы.

Когда поезд вот-вот уже должен был тронуться, он вдруг, раздвинув всех, подошел к подножке, на которой стояла Маша, молча взял ее за руку и отвел на несколько шагов в сторону.

– Маша... – сказал он таким голосом, что она перестала замечать и его сгорбленные плечи, и зябко поднятый воротник, и слипшиеся волосы, с которых смешно капала на нос вода. – Маша, – повторил он, – я тебя люблю. Обещай, что ты выйдешь за меня замуж.

Маша вздрогнула и, обняв его за шею, несколько раз крепко поцеловала.

– Обещай! – повторил он.

– Молчи, молчи! Слышишь, молчи! – испуганно зашептала она, продолжая целовать его.

У нее сразу выскочили из памяти все приготовленные на этот случай слова, как будто их никогда и не было. Ей хотелось только одного – чтобы он сейчас же замолчал.

– Молчи, пожалуйста... Хорошо... Я не знаю, я подумаю, только молчи, пожалуйста, – повторила она, испуганно глядя на него.

– Ты что, передумала? Остаешься? – со своей вечной ухмылкой спросил Павел, тронув ее за плечо.

Она повернулась и увидела, как окно вагона медленно проезжает мимо ее плеча. Нагнав вагон, она вскочила на подножку. Все гурьбой двинулись по ходу поезда, только Синцов, не двигаясь, по-прежнему стоял там, где она его оставила, и, глядя ей вслед, зажав во рту папиросу, одну за другой зажигал гасшие на дожде спички.

Маша написала Синцову первая. Он задал ей вопрос, на который надо было ответить. Но она не ответила, она просто написала ему длинное письмо, переполненное первыми впечатлениями; в письме все выглядело красивей и интересней, чем было на самом деле.

Через два месяца она получила от него ответное письмо, в котором, однако, не было ни слова о том, о чем он говорил ей на вокзале. Она обещала подумать, а ему нечего было прибавлять к тому, что он сказал. Примерно так поняла она его молчание, и поняла правильно. Ни в одном из своих писем за три года он ни одним словом не напомнил ей об этом.

Когда он два года назад написал ей, что окончил Институт журналистики и уехал работать в Вязьму, она вдруг подумала, что он женился, и два дня ходила сама не своя, пока не догадалась еще раз перечитать письмо. Женившись, нельзя писать другой женщине такие письма. То, о чем он писал Маше, было всей его жизнью, – так что же тогда остается на долю другой женщины, если она действительно существует?

Конечно, он не женат. Какие глупости! Во всяком случае, она сама, если бы вышла замуж, никому другому, кроме мужа, не смогла бы писать такие письма.

Синцов все три года писал ей регулярно, два раза в месяц.

Иногда письма были короткие, как он выражался – «о чем-нибудь одним», иногда очень длинные – обо всем.

Эти письма она особенно любила. Быть может, в них, кроме стремления рассказать ей о себе, он еще подсознательно удовлетворял свою тягу к писательству.

Однако при всей той душевной близости к Синцову, которую рождала в Маше их переписка, трехлетняя разлука делала свое дело: забывались лицо, волосы, глаза. Два раза за это время ей показалось, что она влюбилась. И ее даже брало зло, что на самом деле это не так. Все эти три года она чувствовала душевную скованность, иногда сердившую ее, а иногда делавшую счастливой, но при этом мысль вдруг взять и поехать к Синцову и выйти за него замуж все чаще представлялась ей не то что невозможной, а какой-то неправдоподобной.

Неизвестно, как в конце концов повернулась бы ее жизнь, если бы не внезапная смерть отца и полное тоски и одиночества письмо матери, над которым Маша проплакала целую ночь, а утром ответила на него телеграммой, что еще не знает, насовсем или в отпуск, но скоро приедет. Через полтора месяца она выехала в Москву, взяв отпуск за три года сразу, снявшись с комсомольского учета и честно уговорившись, что, может быть, и не вернется. Она не скрывала от себя, что, кроме письма матери, в ее решении сыграло роль и желание увидеть Синцова. Желание, а может быть, даже и необходимость так или иначе решить их отношения.

Она так хотела и так боялась его увидеть, что, готовясь к отъезду, не ответила на его последнее письмо, чтобы не предупреждать заранее. Еще сегодня утром ей одновременно хотелось и встретиться с ним, и еще хоть немножко отсрочить эту встречу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.